

CARDINAL POINTS

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИК

16

СТОРОНЫ СВЕТА

СТОРОНЫ СВЕТА № 16

Мультимедийное издательство
Стрельбицкого;

СТОРОНЫ СВЕТА

Литературный сборник

№ 16



StoSvet
Press

ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вулф (1954–2011)

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Ирина Машинская

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Лиля Панн
Слава Полищук
Валерий Хазин
Роберт Чандлер

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов (1954–2015)
Михаил Кондратенко

КОРРЕКТОРЫ
Ольга Новикова
Рашель Миневич
Наталья Сломова

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕДАКТУРА
Bagriy & Company, Inc , Чикаго
Руководитель: Семён Каминский

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Хона Гордон

Адрес редакции:
sr@StoSvet.net
www.StoSvet.net

Этот номер вышел благодаря поддержке друзей журнала: Аллы Стайнберг, Виктора Пана, Ольги Гольдбергер, Регины Хидекель (Russian American Cultural Center), Славы Полищука, Игоря Мазина, Сергея Ледовских, Григория Стариковского, Михаила Рабиновича, Валерия Хазина, Хельги Ландауэр, Юлии Трубихиной, Владимира Эфроимсона и слушателей на вечерах «Сторон света» и *Cardinal Points Journal* . Спасибо!

PUBLISHED BY STOSVET PRESS, NEW YORK

© 2016, All Rights Reserved

Все права принадлежат авторам

ОТ РЕДАКТОРА

Отметив своё десятилетие, литературно-художественный журнал «Стороны света» становится ежегодным литературным сборником и с этого номера начинает выходить и в печатном, и в электронном виде. Мы рады, что «СтоСвет» становится доступен читателю за океаном — за океанами. Это — главное.

Ирина Машинская

ПОЭЗИЯ-I

Израиль, США, Россия

Денис Новиков ПРИШЕЛЕЦ

Денис Новиков родился 14 апреля 1967 года в Москве. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Участник группы «Альманах». Несколько лет жил в Англии. В 2004 году репатриировался в Израиль. Стихи публиковались в журналах «Огонёк», «Юность», «Арион», «Новый мир», «Знамя» и др. Автор четырёх книг стихов.

Умер 31 декабря 2004 года. Похоронен в г. Беэр-Шева (Израиль).

* * *

Одесную одну я любовь посажу
и ошую — другую, но тоже любовь.
По глубокому кубку вручу, по ножу.
Виноградное мясо, отрадная кровь.

И начнётся наш жертвенный пир со стиха,
благодарного слова за хлеб и за соль,
за стеклянные эти — 0,8 — меха,
и за то, что призрел перекатную голь.

Как мы жили, подумать, и как погода,
с наступлением времени двигать назад,
мы, плечами от стужи земной поводя,
воротимся в Тобой навещаемый ад.

Ну а ежели так посидеть довелось,
если я раздаю и вино и ножи —
я гортанное слово скажу на авось,
что-то между «прости меня» и «накажи»,

что-то между «прости нас» и «дай нам ремня».
Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле

оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица Твои,
по колено в Тобой сотворённом аду
и по горло в Тобой сотворённой любви.

Пришелец

Он произносит: кровь из носа.
И кровь течёт по пиджаку,
тому, не знавшему износа
на синтетическом веку.

А через час — по куртке чёрной,
смывая белоснежный знак,
уже в палате поднадзорной —
и не кончается никак.

Одни играют на баяне,
другие делят нифеля.
Ему не нравятся земляне,
ему не нравится Земля.

И он рукой безвольно машет,
как артиллерии майор...
И все. И музыка не пашет.
И глохнет пламенный мотор.

Чукоккала

Голое тело, бесполое, полое, грязное
В мусорный ящик не влезло — и брошено
около.

Это соседи, отъезд своей дочери празднуя,
Выперли с площади куклу по кличке
Чукоккала.

Имя собачье ее раздражало хозяина.
Ладно бы Катенька, Машенька, Лизонька,
Наденька...

Нет ведь, Чукоккалой, словно какого
татарина,

Дочка звала ее с самого детского садика.

Выросла дочка. У мужа теперь в Лианозове.

Взять позабыла подругу счастливого времени

В дом, где супруг её прежде играл паровозами

И представлялся вождём могиканского

племени.

Голая кукла Чукоккала мёрзнет на лестнице.

Завтра исчезнет под влажной рукою

уборщицы.

Если старуха с шестого — так та

перекрестится.

А молодая с девятого — и не поморщится.

* * *

Взгляни на прекрасную особь

и, сквозь черепаши очки,

коричневых родинок россыпь,

как яблоки в школе сочти.

Зачем-то от древа Минпроса

ещё плодоносят дички

как шанс, как единственный способ

считать, не сбиваясь почти.

Число переходит в другое.

В зелёный — коричневый цвет.
И минус — надбровной дугою —
дурацкую разницу лет.
И плюс помышленья благое,
что сравнивать сущее — грех.
Смотреть. И не трогать рукою
ни яблок, ни родинок тех.

* * *

Слушай же, я обещаю и впредь
петь твоё имя благое.
На ухо мне наступает медведь —
я подставляю другое.

Чу, колокольчик в ночи загремел
Кто гоношит по грязи там?
Тянет безропотный русский размер
бричку с худым реквизитом.

Певчее горло дерёт табачок.
В воздухе пахнет аптечкой.
Как увлечён суходрочкой сверчок
за крематорскою печкой!

А из трубы идиллический дым
(прямо на детский нагрудник).

«Этак и вправду умрёшь молодым», —
вслух сокрушается путник.

Так себе песнь небольшим тиражом.
Жидкие аплодисменты.
Плеск подступающих к горлу с ножом
Яузы, Леты и Бренты.

Голос над степью, наплаканный всласть,
где они, пеший и конный?
Или выходит гримасами страсть
под баритон граммофонный?

* * *

В. Г.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
в ночное окно.
Я слушаю, на спину я перелёг.
И мне не темно.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
собой о стекло.
Я завтра уеду, и путь мой далёк.
Но мне не светло.

Подумаешь жизнь, подумаешь жизнь,
недолгий завод.
Дослушай томительный стук и ложись
опять на живот.

* * *

Это было только метро кольцо,
это «о» сквозное польстит кольцу,
это было близко твоё лицо
к моему в темноте лицу.

Это был какой-то неровный стык.
Это был какой-то дуги изгиб.
Свет погас в вагоне — и я постиг —
свет опять зажётся — что я погиб.

Я погибель в щеку поцеловал,
я хотел и в губы, но свет зажгли,
как пересчитали по головам
и одну пропашую не нашли.

И меня носило, что твой листок,
насыпало полные горсти лет,
я бросал картинно лета в поток,
как окурки фирменных сигарет.

Я не знал всей правды, сто тысяч правд
я слышал, но что им до правды всей...
И не видел Бога. Как космонавт.
Только говорил с Ним. Как Моисей.

Нет на белом свете букета роз
ничего прекрасней и нет пошлей.
По другим подсчётам — родных берёз
и сиротской влаги в глазах полей.

«Ты содержишь градус, но ты — духи» —
утирает Правда рабочий рот.
«Еслигодились твои стихи,
не жалеи, что как-то наоборот...»

* * *

Пойдём дорогою короткой,
я знаю тут короткий путь,
за хлебом, куревом, за водкой.
За киселём. За чем-нибудь.

Пойдём расскажем по дороге
друг другу жизнь свою: когда
о светлых ангелах подмоги,
а то — о демонах стыда.

На карнавале окарина
поёт и гибнет, ча-ча-ча,
не за понюшку кокаина
и не за чарку первача.

Поёт прикованная цепью
к легкозаносчивой мечте,
горит расширенную степью
в широкосуженном зрачке.

Пойдём, нас не было в природе.
Какой по счёту на дворе
больного Ленина Володи
сон в лабрадоровом ларе?

Темна во омуте водица,
на Красной площади стена —
земля, по логике сновидца,
и вся от времени темна.

Пойдём дорогою короткой
за угасающим лучом,
интеллигентскою походкой
матросов конных развлечём.

Степь

Открывались окошечки касс,
и вагонная лязгала цепь,
чёрный дизель, угрюмый Донбасс,
неужели донецкая степь?

С прибалтийским акцентом спою,
что туманы идут чередой,
как, судьбу проклиная свою,
через рощи литвин молодой.

Защищён зверобоем курган,
но не волк я по крови, а скиф,
и нехай меня бьёт по ногам,
а не в голову, как городских.

Под курганом, донецкая степь,
спит рабоче-крестьянская власть,
как и белогвардейская цепь.
И нехай они выспятся всласть.

Азиатское семя *дурман*
на степных огородах взошло,
встал, как вкопанный, чёрный туман,
а зелёный идёт хорошо.

«Ты давай на меня не фискаль, —
говорит безработная степь, —

отливающий пули москаль,
ты кончай вхолостую свистеть.

Ты бери мою лучшую дочь
и в приданое весь урожай
и на свадебном дизеле в ночь,
как хохол на тюках, уезжай».

Из Бодлера

Ну какая вам разница, как я живу?
Ну, допустим, я сплю,
а когда просыпаюсь, то сплю наяву
и курю коноплю.
Я из тайны растительной сонным шмелём
вдохновенье сосу.
А ещё я в пчелу трудовую влюблён,
деловую осу.

* * *

Отяжелевшая к вечеру чашка —
сахар, заварка —
долго на стол опускается, тяжко,
шатко и валко.

По не совсем характерной детали
автопортрета
можно судить, как смертельно устали
руки поэта.

* * *

Дай поцелую, дай руки дотронусь
через века.
Невероятно важная подробность
твоя рука.

У выпускницы ямочки играют,
и желваки
по скулам, как лады, перебирают
выпускники.

Ты смелая была и не ломака.
Через века
мне ножницы, и камень, и бумага
твоя рука.

* * *

Возьми меня руками голыми,
ногами голыми обвей.

Я так измучился с глаголами
и речью правильной твоей.

Я так хочу забыть грамматику,
хочу с луной сравнить тебя.
Той, что даёт, любя, лунатику
и оборотню, не любя.

Эдем

Я не обижен не знаю как вы
я не обманут ничем
в первую очередь видом москвы
с ленинских гор на эдем
всё любовался бы с ленинских гор
всё бы прихлёбывал я
в знак уважения тёплый кагор
к церкви крестившей меня
слышу у павла звонят и петра
даже сквозь снобский прищур
вижу на тополь склонилась ветла
даже уже чересчур
здесь родилась моя мама затем
чтобы влюбиться в отца
чтобы нерусскому слову эдем
здесь обрусеть до конца
чтобы дитя их могло говорить

это дитя это я
чтобы москвы не могли покорить
чёрные наши друзья

Публикация: © 2016, Юлиана Новикова
Составитель: Феликс Чечик

Феликс Чечик
ПОЙДИ ПОПРОБУЙ ОБЪЯСНИ

* * *

А.Ф.

За то, что пил не только квас,
спровадили его,
как Лермонтова на Кавказ,
в бескрайнее ЗаБВО.

Теперь, ты хоть залейся — пей
во сне и наяву:
вино тоски, абсент степей
и неба синеву.

* * *

А.Б. и А.С.

В Ярославле, в Казани,
под любимый мотив,
мне меня рассказали,
мне меня объяснив.

Об отце и о маме,
о любви, о стране,
но своими словами,
что молчали во мне.

* * *

есть в небрежности
рифм не всегда иногда
глубина и безбрежность
реки где вода

по весне в половодье
не знает границ
заполняя просодию
молчанием птиц

* * *

Пойди попробуй объясни:
и свет и рот забитый глиной,
где путь от счастья до блесны —
до бесконечности недлинный,

как загулявшего отчет
на утро старика старухе.
И забываешь про крючок
и рыбаку целуешь руки.

* * *

Сколько выпито — выпито сколько,
и посуды разбитой не счесть.
А душа, как надменная полька,
потерявшая гордость и честь.

Шутим дешёво, тухло и плоско,
крутим жизни немое кино,
иногда бормоча: — Jeszcze Polska
nie zginęła... Zginęła давно.

* * *

Живя в провинции, — о море
и не мечтаешь; «Уралмаш»
символизирует не горе,
а энтропии антураж
на фоне закопченной выси
в потустороннем декабре,
где и не думать о Денисе —
как будто думать о себе.

* * *

Представь, что это мы,
но тридцать лет тому
назад, — среди зимы,
идущие сквозь тьму
любви, разлуки, лет,
и освещает путь
непрожитого свет,
который не вернуть.

* * *

Детский лепет, как если бы щебет
ежеутренних птиц,

за нос водит, горбатого лепит,
камуфлируя блиц.
Я не верю, конечно, и снова
покупаюсь, и вновь
я целую манок птицелова,
что поет про любовь.

* * *

Замысел? Промысел? Мне ли,
Боже, об этом судить...
Выросли и поумнели
и поубавили прыть.

Вымысел, глупость, оплошность,
сказка, фантазия, бред, —
как декабристы на площадь
вышли... А площади нет.

Гали-Дана Зингер **ПЕСЕНКИ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ**

1

Ой, ягненок в море,

Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застыят,
Горе, мальчик, горе!

Выйди, Рохеле-луна,
Что ты видишь из окна?
Ой, мой Янкеле-ягнёнок,
Много ль видно мне спросонок?

Ой, слепцы стучат клюками,
Звёзды колкие им вторят,
Манят злые сны руками,
Горе, мальчик, горе!

Злые сны на гнутых стульях
Машут тонкими ногами,
Мальчик с девочкой уснули,
Пляшут ноги сапогами.

Звёзды зонтики раскрыли,
Ой, слепцы раскрыли крылья,
Эти крылья — макинтоши.
Ой, всё плоше, Янкел, плоше!

Ой, ягненок в море,
Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застыят,
Горе, мальчик, горе!

2

Ой, наш Гиршел — дурачок,
Без небес построил дом,
Прямо в сердце вбил крючок,
Кошечка хозяйкой в нём.

Ой, диредиридай!

Кто наш Гиршел, угадай?!

Ой, наш Гиршел — дурачок
Без луны построил дом.

Крючок в сердце и молчок,
Сидит тихо под столом.

Ой, диредиридай!

Кто наш Гиршел, угадай?!

Ой, наш Гиршел — дурачок,
Ой, ему невесело.

Поварешку на крючок
Кошечка повесила.

3

Козочка в лодке,
Котёнок под грушей,
У луны в серёдке
Лопухами уши.

— Козочка, мир вам!
— Котёнок, вам радость!
— Не хотите погулять?
— Ах, луна — преградой!

Что скажет соседка,
Лопухами уши?
Я гуляю редко.
Посидим под грушей?

— Грушевая сладость
Меня так и манит.
— Ах, луна преградой,
Вдруг да косо глянет.

— Козочка, мир вам!
— Котёнок, вам радость!
— Так хотелось встретиться!
— Ах, луна — преградой!

4

Голубые ослики в небе замирают,
Ой, горе мне, горе, осень наступила.
Знал ли я бедный, с летом играя,
Что моя скрипочка обо мне забыла.

Золотая, стройная, ой, что с нами станет?
В сердцевине яблока, в сердцевине лета
Ходики проснулись. Звоном сердце раня,
Ой, что теперь будет, дайте мне советы!

Голубые ослики в небесах повисли.
Дайте мне советы, я им не поверю.
Возьму их в руки, как жёлтые листья.
Где моя скрипочка, где моя потеря?

5

Киселе, кошечка моя, замуж выходит
За старика,
За крынку молока,
За чёрта, вроде.

Киселе, кошечка моя, замуж выходит,
Над стариком,
Над дураком
Поверховодит.

Киселе, кошечка моя, меня оставляет
Для старика,
Для дурака,
Для сундука,

Да для крынки молока,
Киселе, злая.

6

Кто на курице женился,
Тот не будет петухом,
Кто на праздники постился,
На ведре летит верхом,
Кто увидел в небе пряник,
Ходит тот без головы,
У кого осёл племянник,
Тот кричит: «Увы! Увы!»

7

— Береле, надень калоши,
Посади в котомку кошек,
И в карманы — квочку с уткой,
И в петлицу — незабудку,
В сердце — рыбку серебра...
— Ента-Рейзл, как ты добра!

— Горло шарфом мы укроем,
Ты и я — всего нас трое,
Долгий путь глядится в лужи,

Вот горбушка нам на ужин,
В сердце — рыбка серебра...
— Ента-Рейзл, ты так добра!

— Поплывём с тобой в калошах,
Бросим в небо хлебных крошек,
Пусть летает крошек стая,
Звёзды в тихом небе тают,
В сердце — рыбка серебра...
— Ента-Рейзл, как ты добра!
Золотая рыбка из чистого серебра!

8

— Я, козлёнок, выйду за тебя,
Ты достань мне мёда без звезды.
— Я достану мёда без звезды,
Только сердце рань мне, не любя.
— Как мне ранить сердце, не любя?
— Как мне без звезды добиться толка?
— Я, козлёнок, выйду за тебя,
— Только сшей мне сумерки без шёлка.

9

Имбирь и корица

за грошик,
изюм и миндаль
за пятак,
а длинное семечко груши
и черное семечко яблока
за так.

За грошик
вода и облако,
глоток и гроза
за пятак,
а чёрное семечко глаза
и длинное семечко слёз
за так.

10

Пожалейте бедного слепого,
потерял он улицу с коровой,
потерял он голову в картузе,
потерял урядника при пузе,
потерял клопа в бутылке с керосином
и худое дерево осину,
потерял он дождь из рыбьей кости
и возможность напроситься в гости.
Пожалейте бедного слепого,
потерял он час и полвторого,
потерял вареники с лабазом

и прозрел вчера на оба глаза.

11

Время похоже на ребе.
Ребе похож на время,
время часов песочных,
путает тохэс и темя.
Ребе сидит на хлебе.
Время сидит на небе.

Чтобы понять время,
нужно пойти в школу.
Ребе песком присыпет правильные глаголы,
гири часов подтянет и поскребёт темя.

Бремя похоже на ребе.
Ребе похож на глаголы.
Ребе сидит на небе,
я не хожу в школу.

Чтобы понять время,
нужно сидеть на небе,
там, где сидит ребе,
и почесывать темя.

Маятник стоит.

Хлеб лежит.
Ребе сидит.
А время бежит.

12

Прабабушка Ципе
на дагерротипе
с прадедушкой Мулей
на венском стуле
направились к липе, немного ссутулясь,

головами качая,
за ясной дорогой,
за липовым чаем,
за всем понемногу.

Головами качали
и в начале дороги
самовар повстречали,
еле двигавший ноги,
и немного ссутулясь,
направились к липе
прадедушка Муля
(в кармане дуля)
и прабабушка Ципе
на дагерротипе.

13

Буквы дремлют между точек,
спит пергамент между строчек,
мудрецы спят в переплёте,
муха спит в полете.

Кто стучит так поздно ночью?

Это падают мёртвые мухи.

Паутина спит в углу,

веник дремлет на полу,

шелест дремлет меж страниц,

зренье дремлет меж ресниц.

Кто стучит так поздно ночью?

Это падают мёртвые мухи.

Только сторожу не спится,

колотушке снится кашель,

шевелит губой корова

и не спит на камне слово.

Кто стучит так поздно ночью?

Это падают мёртвые мухи.

14

Трудно без варенья жить,
но можно, к сожаленью,

можно жить, но трудно, без труда.
А попробуй, потеряй терпенье —
и что тогда?

15

Перлы живые, мертвые рыбки,
Зябкие опоры, перловые улыбки.
Жареные рыбки, ни мертвы, ни живы,
лестницу ладят для нетерпеливых,
лестницу ладят
без перекладин,
кто по ней поднимется, под ноги не глядя?
Жареное золото, живое серебро,
Кому тогда останется всё моё добро?

16

Лодка пустая и полная
среди корней.
Голые черви как волны
идут за ней.
Волна окликает волну:
корень, червь.
Лодка ищет луну.
Там верфь.

Пустая и полная лодка
среди корней.
Вёсла — товарец ходкий,
поверьте мне.

1985–1987

Марк Зильберштейн
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ С ПУТНИКОМ

* * *

Александр Карабчиевскому

Есть память о несбывшемся — она
неотделима от пережитого
и в назидание сохранена.
В ней, как в смоле застывшей, — имена
и образы, один нежней другого.

Ты нынче вспомнишь всех наперечет —
и словно целое двадцатилетье
в воронку временную утечет:
река... и снег... и явственно влечет

к той девушке, которой нет на свете.

Мы расселились в странных городах:
они подобны прежним только небом —
и, в собственных запутавшихся годах
(о, да продлятся наши дни в трудах!),
грустить ли нам о том житье нелепом?

И если вдруг знакомая черта
проглянет в людях, что повсюду схожи,
очередную ложку мимо рта
достойно нужно пронести, без дрожи.
Ведь эта дверь надежно заперта,
и в наше прошлое они не вхожи.

Январь 2009

На смерть С. Герзона

И дни прибавились, и годы приросли:
прошел, как облако, апрель медоточивый.
Мы в одиночестве, мы — на краю земли.
И сражены внезапной перспективой.

Мы вмиг состарились — лишь начинали жить;
и время, и страна — все вдруг переменялось,

а то, чем искренне хотели дорожить, —
химера или утраченная милость.

За сочетанием знакомым: «прошлый век»
стоит наш собственный, регалий не имея...
Казенный плакальщик, наемный человек,
просил за нас прощенья у Сергея.

Он мудр по должности и скажет обо всем.
А мы беспомощны: как осознать такое!
Кто мы? Откуда мы? И что в себе несем?...
Не будет нам ни мира, ни покоя.

Ушедшие от нас прекрасны навсегда.
Как в мифах греческих, их молодость
продлится.

Но дней растянутых глухая череда
черты стирает, сглаживая лица.

Из века прошлого разбитый тарантас,
идем в небытие, обрюзглы и сутулы.
Ушедшие от нас опередили нас.
Их лбы чисты и безупречны скулы.

Июнь 2009

Зрительные образы

Чужая жизнь дразнила и влекла,
и, на себя их внешность примеряя,
я в них гляделся, словно в зеркала,
ничем себя от них не отделяя.

Высматривая стройных, молодых,
касаясь их своим несатытым взглядом,
я был не с ними, а — одним из них,
и числился по спискам где-то рядом.

Как долго это длилось? Был ли срок
отпущен мне на праздные слиянья?
О неизжитый юности порок:
я времени не чувствовал дыханья!

Ведь никого Всевышний не отверг.
Что — судьбы мира, корчи государства?
Я знал во вторник, что грядет четверг,
а в пятницу окончатся мытарства.

Так было... Но потом возник провал:
я вдруг утратил навыков начатки
и больше их уже не узнавал —
вчерашних раздражителей сетчатки.

Их контуры размыты с неких пор:

разрушился состав старинных масел,
и встроенный оптический прибор
пропорции их лиц обезобразил.

Декабрь 2009

Ночной пейзаж с путником

Человек исчез — как не бывало:
он спешил к невидимой черте,
и молитвенное покрывало
белое мелькало в темноте.

Мягкие на ощупь тамариски
закрепляли спящие пески.
Редких звезд серебряные брызги
помечали купола куски.

Небо чуть светилось, колыхалось
над неровной кромкою холмов:
за грядою шевелился хаос —
первобытный, из других миров.

Мой собрат пошел общаться с Богом.
Деревца оставив на ветру,
он бредет сейчас зеленым логом...

Что предстанет таковым к утру.

Январь 2010

**Юбилейные строфы
(как этот день)**

Е. В. Бялик

Пылал — и становился пеплом;
истлев, пропал за горизонтом.
Спешил он вслед собратьям беглым,
сгоревшим так же нерезонно.
И вот: на темном небосводе
мерцают хрупкие частицы,
и роль исчезнувших в природе —
присутствуя не возвратиться.

Великая библиотека!
Соблазн для нашей мысли тленной! —
вдруг разменявшие полвека
мы смотрим в прошлое вселенной...

Следя за точкой сигареты,
за облачком, за струйкой дыма,

ты не услышишь стук кареты:
грань времени непроходима.

И так растительно-бездумно,
из неизвестного предела,
под покровительством Вертумна
течет изменчивое тело.

Оно проходит сквозь пороги,
невластное в своем теченье,
но в срок, как римские дороги,
свое исполнит назначенье.

С неумолимостью закона
его уносит в бессловесность.
Сейчас. Как и во время оно.
Из невесомости — в безвестность.

Из праха — снова в бестелесность.
Из сада — в голую безлесность.
И от бесславья — в бессловесность,
и от беспамятства — в безвестность.

Вот так, растительно-бездумно,
течем и пропадаем в устье,
под покровительством Вертумна
живя и старясь в захолустье.

Май 2008

* * *

*Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе .*

Б. Пастернак

Как столешница — в бледных разводах —
ненавязчивый мрамор небес.
Утомившись в «дневных» переходах,
ты вступаешь в реликтовый лес.

Низкорослый, испачканный сажей,
погорелец, калека навек!
Это, мастер весенних пейзажей,
изувечил его человек.

Отступая под натиском свалок,
как под натиском варварских орд,
полуголый ландшафт полужалок,
обречен, но еще полугорд.

Красновато-свекольные травы —
как подтеки по скатам холмов;
станут бурыми, нынче кровавы,
затопили его до краев.

Раздавив муравья ненароком,
ты участвуешь в похоронах...
Через балку, заросшую дроком,
поднимись, как буддийский монах,

на вершину и, глядя оттуда,
в стороне от гудящих шоссе,
тамарисков зеленое чудо
ты увидишь в неброской красе.

И тогда, принимая как данность
этот день и песчаный увал,
ты прошепчешь тому благодарность,
кто шишигу шишигой назвал.

За нешуточность слова, за штучность,
за добытую из пустоты
пресловутую единосущность
с тварным миром, что смертен, как ты.

17 Мая 2009, Холон

Одна песенка, одна книга

И.А. Ниновой ¹

Удобно ли тебе в твоих сабо —
качаться в них, выстукивать шаги
по улицам — и быть самой собой?
А я хотел бы для твоей ноги
стать башмачком, как в песенке одной.

Пойми: ты мною вымечтана, твой
прекрасный образ, — так он и возник,
загадочный, изменчивый, живой, —
я ничего не вычитал из книг...
Ну разве, может, только из одной:

ведь ты меня ласкаешь, о сестра,
невеста, сколь любезна мне твоя
скупая ласка! Как же ты добра!
Я твоего сладчайшего питья
не стою. Как Мухаммеда — гора.

Во время наших неурочных встреч,

¹ См. материалы памяти И. Ниновой в разделе «Портреты».

когда я на тебя не нагляжусь,
я слышу голос, вслушиваюсь в речь —
и, господи, ведь я тобой горжусь!
И это все мне суждено сберечь

в долинах памяти, в ее садах,
где ты идешь и легкою стопой,
едва касаясь, попираешь прах
прошедшего и шелестишь листвою...
в долинах памяти, в ее садах.

1984, Санкт-Петербург

От первого лица

В последний раз от первого лица
я говорил тому лет двадцать пять,
да и тогда, наверное, смущался.
Сегодня же, в предчувствии конца,
пускай нескорого, хочу сказать:
я рад, во-первых, что перемещался

не по одной лишь — временной — оси,
что дочь моя имеет в жизни цель
и ладит с обстоятельствами места:
она, представьте, дело на мази, —

без трех минут армейский офицер!
И сам я, как-никак, — отец семейства...

В вечерних новостях — сплошной комплот:
угрозы, козни мировых держав,
что продают единовверных братьев,
у берегов страны — турецкий флот!
И худшего (как будто) избежав,
мы уступаем... честь свою утратив.

Почти лишенная ручьев и рек
полоска суши лепится с трудом
на карте мира где-нибудь на врезке.
Едва пустивший корни имярек
здесь узнает, что стал для всех врагом, —
он самоощущает по-еврейски.

Весь край перевоеван от и до,
о чем и камни рассказать могли б
в сухих садах с добавкой олеандров:
великий фараон у Мегиддо,
у стен столицы сам Синаххериб,
а позже — Кир и пара Александров.

Последний был из наших: иудей.
Фамилия его была Яннай.
Народ его не полюбил — за вредность.
Он перерезал множество людей

(из тех, кому он не сказал: «Канай отсюда на хрен»). Такова конкретность

творящихся — или творимых — дел...
Смотрю навстречу завтрашнему дню,
слегка оскалив сточенные зубы.
Я в настоящем что-то проглядел.
А этот... заберет мою родню,
и все его поползновенья грубы.

Тель-Авивский полдень
(Улица Игаля Алона)

Дома циклопической кладки.
Деревья тропической складки —
просторные, как веранды,
узорные жакаранды.

И полдень июля, похожий
на прочие, выбелит плиты;
смягчен левантийскою ленью,
замедлит каленые стрелы.
Обтянуты смуглою кожей
конечности, полуприкрыты;
готовые к совокупленью,
все особи половозрелы.

И в полдень, под купами сада,
где ящериц брачные игры
и так ветерок обдувает
под сенью широкой оливы,
пластами слежалась прохлада,
все беды — бумажные тигры,
и лучше едва ли бывает...
Запомнится день как счастливый.

Июль 2010, Тель-Авив

Катя Капович
ЧЕРНОСТОП

* * *

Вы думаете об отчизне,
вас с этим поздравляю я,
а у меня чудные мысли
и даже им я не верна.
И каждый раз я изменяю
то этой мысли, то другой,
как будто варезки теряю
в снегу бесчисленной зимой.
Как будто сею из карманов

рукою холодной серебро,
дыша туманом и обманом,
и нет отчизны. Ничего.

* * *

Бог пуританский ироничен к метрике,
подумаешь, застыв с утра в воротах,
что мы — викторианские помещики,
переселенцы на больших болотах.

По черностопу ходят псы охотничьи,
пугая стаи чуть охрипших галок,
и на ветру усадьбы как с иголки
с огромным серым дымом на порталах.

Здесь по-простому чествуются праздники,
здесь и не празднуют, похоже,
у дней простые стоптанные задники,
с резиной эдисоновой подошвы.

А ты сверли мерцанье однозвёздное,
точи огонь и возводи стропила,
и тайну навсегда храни морозную
для жизни строгой, строгой и унылой.

Голубоглазо стеклышко бессмертия,

шуршат часы с докучным опозданием...
Пойдем, викторианское наследие,
ирония моя, потараканим.

* * *

Младой любовник, не к тебе
так нынче ластится Лаиса,
ногами, выбритыми чисто,
ласкает ноги в простыне.
Окурок красный притушив,
ласкается к тому, кто прежде
любил ее, пока был жив,
такой слепой любовью нежной.
Послушай звон этих пружин.

* * *

Человек погибается от пустяка,
как от куклы отламывается рука,
и об этом Толстой с убедительной силой
рассказал, написавши Иван Ильича.
Там столы и комоды стоят вокруг могилы,
сослуживцы не видят, как слезы текут,
и напрасно на цыпочках ходит верзила,
заложивши за пояс взъерошенный кнут.

Так откуда тогда этот свет на прощанье?
Что изменит он в мире, где ужас и хлад,
где жена уже смотрит пустыми глазами,
просит морфий испить? Если этим назад
пустяком бесполезным, бей, боль, ниоткуда,
говори абсолютную правду в глаза,
или веру верни в абсолютное чудо...
А вот это вот — боль отвечает — нельзя.

* * *

Мне нравится тусклая звездочка,
мне нравится ветер сырой,
мне нравится белая лодочка
над синей, прилежной рекой.

Мне нравится легкое, быстрое
теченье холодной воды —
всё то, что подальше от истины
и ближе к бессмысленности.

И что мне особенно нравится,
с уходом к другим берегам,
все точно таким же останется,
та можешь проверить и сам.

* * *

Дай синих сосен вековые космы
на дни пустые после снегопада,
когда они белы, немы, морозны,
живая корабельная ограда.

Дай белое от снега расстоянье,
огромное одно, без перебоя,
чтоб к небу семимильными шагами
дорогою идти навек пустою.

Меж нами с миром лишь молчанья пропасть
на долгий отзвук мостовой булыжной,
лишь солнца покотившегося обруч,
который я в другом краю увижу.

И вспомню, как во дни паденья ртути
торжественно вдали синеют горы,
такие равнодушные до грусти
к открывшемуся на краю простору.

Евгений Морозов
ПОГАДАЙ ПО ПАЧКЕ СИГАРЕТНОЙ

* * *

Ночью, посещая холодильник,
если сном разжиться не дано,
тихо, как крадущийся насильник,
помолись о чём-нибудь в окно,

но не так, чтоб крепко об пол биться,
будучи виною прокажён,
а с колбасным тубусом в деснице
и лохматой шуйцею с ножом.

Будешь ты прощён за всё былое,
если и не богом, то собой
без куренья свеч у аналая
прямо в кухне тесно-голубой,

ибо самой чёрной полосою
прогулялась мысль твоя, когда
колбасой с солёною слезою
подавился тихо от стыда.

Совесьть, сотрапезник ненасытный,
крест тебе на шею, в руки — флаг:
даже за рутинною молитвой
и едой священной что ж ты так?

Кристалльная, горняя, верная речь,
как вкрадчивы ритмы твои,
когда начинаешь трагически течь
из гулкой чугунной змеи

систем утопления в глубинах времён,
о камень на сердце дробясь
на тысячу смыслов, частей и сторон
и мудрую ржавую грязь.

В минуту, когда поезда на мосту
взрывают последним «прости»,
ты учишь ручного моллюска во рту
скользить по ночному пути

скалистых зубов и сырой полутьмы
и бездны, где смерть сожжена
звездой, в которой рождаемся мы
из хаоса, как из зерна.

* * *

У прожжённых героев в конце ЖэЗэЭла
много яркой алхимии для
выделения духа из плотного тела —
эшафот, богадельня, петля.

На глазах у читателя звонкая сила
разобьётся о высшее зло:
ибо сколько же можно, чтоб вечно катило,
поддувало и в гору везло.

Как на птицу летящую смотрит с ехидцей
полу-отпрыск ужа и ежа,
территорию личной своей психбольницы
за колючею правдой держа,

так порой очень странно, что с юности ранней
все геройские подвиги те
почивают средь залежей трубных изданий
о дерзании и борзоте.

И кому было дело, что жизнью простою
жил герой и спускался в подвал,
где от сложенных крыльев страдал ломотою
под лопаткой и нимб пропивал.

* * *

Погадай по пачке сигаретной,
отчего запнёшься и умрёшь,
человек, проживший много лет, но
мало в чём раскаявшийся всё ж.

Зачерпни рекламного парада,
помечтай, что купишь, а чего
за многообразием не надо,
человек, хотящий одного.

Заклучи по лицам-монолитам,
от кого в какую кутерьму
понесёшь любовь и будешь битым,
человек, поверивший всему.

Человек земной, прямоходящий,
лгущий, жгущий прущею толпой,
человек, живущий к пользе вящей,
человек смотрящий и слепой.

Я тебя люблю, когда из мая
в колыбель сорвёшься как звезда
и пищишь ещё не понимая,
кто ты и откуда и куда.

Антон Нечаев
Я — ВНЕ

* * *

Заходя в комнату, выключаешь свет.
Никого нет. Значит, и меня нет.
Свет — это топот, тепло, жилье,
свет — это все отобранное мое
прошлое...

* * *

Земля с похмелья
встала на дыбы
и не пустила
самосвал на стройку.
Дом обветшал,
хотя его и крышей не покрыли.
Остатки племени
связали из травы
веревку
и, обернувшись ею,
сели на житье.
Лес горевал, что он не сад.
А яблоня
теленка родила.

* * *

Из кресла

ты выходишь на бульвар
и до утра листаешь
камни и скамейки
и памятником бронзовым идешь
с сороками бичующими вровень.
А кресло едет
с криком за тобой.

* * *

Вся уходящие души —
я с вами.
Пронесите меня,
как пленного неприятеля,
над сброшенной шкурой рек,
над глотками спящих звезд,
над музыкой баров и академий
прочь, прочь, навсегда отсюда,
здесь больше нет ничего,
здесь больше нет никого,
лишь свечка жгучая черных воспоминаний.

* * *

Я — вне
Вне страны,

вне народа.

Слово отправляю по почте,
мне возвращается «оловс».

И где тот лес,
где бы жить я смог?

И где те птицы,
которые б мне подпевали?

* * *

Птица топчет небо,
встряхивает рассвет...

Если бы ее не было,
было бы небо?

Было бы небо?

Только и птицы нет.

Трагедия

Он родом из татарского села,
но армия в тиски его взяла.

И он шагает с другом-автоматом
и пулею здоровается с братом —

чеченцем. Но в один и тот же час
Аллаху обращают свой намаз.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

США, Израиль, Россия, Сербия

ГОМЕР

В переводе Григория Стариковского

Цирцея — Одиссею

«Сперва подплывешь к сиренам (они
прельщают
мореходов, которые подплывают близко).
Кто приблизится по неведению и услышит
голос сирен, домой не вернется, не выйдут
жена и малые дети — встретить с дороги.
Сирены прельщают слух пронзительной
песней,
на луговине сидят, а вокруг изгнивают
людские кости, покрытые сгниетной кожей.
Проплывай на судне, замазав уши команде
размягченным воском, чтобы не слышали.
Если же сам пожелаешь выслушать пение,
пусть тебя по рукам и ногам обвяжут
возле мачты, и закрепят концы каната,
тогда насладишься, слушая сдвоенный голос.
Если же взмолишься, прикажешь распутать,

пусть ещё крепче сдавят тебя канатами.
Когда они отведут корабль от острова...
не доскажу тебе, из двух направлений
которое выберешь в дальнейшем плаванье,
сердцем надумаешь. Открою два направления.
Нависшие скалы с одной стороны, а напротив
ревет крутая волна темноглазой Амфитриты.
Блаженные боги называли скалы Планктами.
Птица не пролетит, даже робкие голуби,
которые носят амброзию Зевсу-родителю;
всегда одного похищают гладкие скалы.
Родитель шлет другую птицу на замену.
Корабль, подплыв, не вырвется невредимым,
морские волны, порывы смертельного

пламени

уносят людские тела, обломки крушений.
Один корабль проскользнул, плывя от Аэта,
мореходный Арго, известный повсюду.
Даже *тогда* отбросило бы на скалы,
но Гера провела корабль ради Ясона.
Есть ещё скалы: одна в широкое небо
забирается острой вершиной, объята
темною тучей, неподвижной. Небо
вечно застлано, летом и ранней осенью.
Смертный наверх не поднимется, не одолеет,
будь он двадцатируким, двадцатиногим:
гладкие камни, будто бы отполированы;
посередине — пещера во мгле, обращенная

в сторону ночи, к Эребу. Полный корабль
направишь мимо скалы, Одиссей
бесподобный.

Даже мощный лучник не добьёт до пещеры
стрелю, пущенной с пустотелого судна.
Там обитает Сцилла, несносно скулящая,
повизгивает, как щенок, рожденный недавно,
чудовище, которому каждый ужаснется,
будь он даже богом, если встретит Сциллу.
Двенадцатиногая (ноги — слабые, жидкие),
шесть удлинений шейных, сверху насажены
ужасные головы, зубы тремя рядами
теснятся в пастьях, полные черной смерти.

Нижняя половина спрятана в пещере,
Сцилла выносит головы из жуткой впадины,
оглядывает море, отлавливает дельфинов,
тюленей, охотится на огромных рыбин,
которых питает бурлящая Амфитрита.

Никогда моряки не похвалятся, что проплыли
невредимые, но каждая пасть хватает
человека, и уносит с черноносого судна.

Вторая скала, Одиссей, поменьше, неподалеку
от первой, на расстояньи выстрела из лука.

На скале — высокая густолистая смоковница,
внизу глотает черную воду Харибда,
бессмертная. Трижды в день глотает, трижды
извергает, ужасная. Не подплывай, когда

глотает —

Сотрясатель земли, даже он не спасет от смерти.

Корабль направь к скале, где обитает Сцилла, проскальзывай мимо — лучше недосчитаться шестерых, чем оплакивать всю команду».

ТРИ ИЗРАИЛЬСКИХ ПОЭТА В переводах с иврита Гали-Даны Зингер

Меир Визельтир ОТКРЫТКИ ИЗ ПЕЙЗАЖЕЙ ДЕТСТВА

1. Новосибирск

Слоны и медведи из льда
по утрам встречали меня
чистой стужей,
неслышным ворчаньем.
Пели, скрипели сани.
Через стылую в инее площадь
молодая женщина тянула ребёнка
на короткой тонкой верёвке.
Пели, скрипели сани.
Искрились чудесные льдины.
Люди продвигались,
укутавшись, пар выпускали дыханий.

Головы слонов и медведей
я лучше всего запомнил,
мерцающие в сером пространстве,
что живую плоть рассекают.
И под вечер ещё возникали
их слегка размытые лица,
словно посторонились и отплыли,
смежили пустые глазницы.
Тяжёлый снег по планете
бьёт, будто молоты гномов,
кующие новое упование
каждую ночь неустанно,
как скрытым жителям подобает,
занятым важным тайным
и секретным деяньем.

2. Эйн-А-Тхелет

Были прораставшие пейзажи, что проростили
в спалённых песках белые кубики. Отблеск
неведомый нашим отцам. Разве что
воображаемым праотцам из потрёпанных
книг.

Бдящие наши глаза видят: ровный ряд
против ровного ряда дворов, размеченных
колышками и бечёвкой,

крыши с увесистой черепицей, краснеющей еле-еле.

Песку, что в серёдке — называться дорогой, сконфуженному кусту — называться деревом, презренному праху — называться Адамом, и только небо — небо для Господа, небесная твердь во всём полноценная.

Лазурь лиловеющая, раскалённая, и обманный порывистый ветер с моря, собирающий в горсть обрывки благоуханий апельсиновых рощ, пустырей и течки

суглинка.

При крушении дня на померкшие дюны вспыхивают нагие огни. Да только свет, он и есть свет, он озаряет во тьме: песню

протеста

лисиц и шакалов округи, летучей мыши полёт.

Рони Сомек

Рай для риса

Моя бабка запрещала оставлять рис на тарелке.

Вместо историй о голоде в Индии и о детях с раздутыми животами — уж они-то разинули

бы рты ради рисового зёрнышка —

она со скрежетом вилки сгребала остатки
на середину тарелки и, рассказывала,
чуть не плача, как несъеденный рис восстанет
и станет жалиться Богу.

А теперь она умерла, и я представляю себе
радость встречи

между её вставной челюстью и стражами с
пламенными обращающимися мечами
у врат Рисового райского сада.

Они расстелят перед ней ковёр красного риса.
Солнце жёлтого риса стегнёт по белизне
райских гурий.

Бабушка умастит их елеем, и одна за другой
они скользнут

в космические котлы Божьей кухни.

— Бабушка, — мне хочется сказать, —
рисинка — это сжавшаяся ракушка,
и ты точно так же ускользнула
из моря моей жизни.

Первый закон джунглей. пропавшее без вести стихотворение

Первый закон джунглей заключается том, что
нет законов,

и в слоновьей долине смерти штопор ветра

царапает твоё тело, стиснутое консервной банкой.

Мы не были знакомы, но первые слова, которые папа принес с урока иврита были: «место захоронения неизвестно», и он рассыпал их, как беглый огонь на протяжении твоей и своей жизни. Кто-то рассказал, что тебя видели, но смутно, на метеостанции в Бейт-Дагане, а ночью вернулся с твоим именем, будто с мешком картошки.

Нож, который должен был срезать кожуру тоски и сожалений, лежал в ящике, отточенный фантазиями, в которых я спасал тебя от двух львов.

Мне было четыре года, и даже у языков пламени в керосинке была драконья пасть.

Любовная песня с подвесным вентилятором

Мы — стальные лопасти старого вентилятора. Шуруп, подвесивший нас к потолку, помнит язычок отвёртки, закрутившей его головку, и стон бетона в момент проникновения. В углу комнаты включено радио, и по нотным

станам лезут вверх

слова, как строительные рабочие с
напряженными мышцами.

Кто-то поёт: «Если любить тебя — ошибка,
я не хочу быть прав».

Работа

Это не всегда чернота под ногтями,
синий воротничок,
отвёртка,
шуруп.

О, голые девочки,
которых можно повесить на облупившуюся
штукатурку,
и пальцы хозяйки буфета, привыкшей
размешивать «две ложки сахара и каплю молока».

Нет, романтики нет ни в платёжной
ведомости, ни в инфляционной надбавке,
ни в бутылке коньяка к празднику.

Только зубчатые колеса станков, рычащих,
как львица,

когда джунгли давным-давно отплясали на её
свадьбе.

Вечерний зной

Вечерний зной — это честное слово улицы.
Та красота лета, что не приносит трофеев,
красота, по сравнению с которой даже ответ
бога Иову
был только ветром, дувшим в загривок зверю.
Что будет с тем, кто сидит в кафе, как на
пограничной заставе,
с сердцами девочек, которые не могут
выбрать страну, город, ночь,
и с тем, кто перелистывает сердца, будто
забытую коллекцию рисованных открыток.

По дороге в Арад

Белые овцы по дороге в Арад,
как молочные зубы пустыни.
Война продолжается,
а волк, что возляжет с ними, ещё не родился.

Панковская песня, начинающаяся двумя строками Чехова

Тот, кто вешает револьвер в первом акте,
выстрелит из него в третьем.
Из дула вырвутся пряжки куртки, стальная

цепочка

и ножи шагов той, под которой расколется
асфальт улицы Йегуды А-Леви.

А пока что, она подкрашивает красным пряди
волос на затылке,
как бедуин, метящий овцу.

Кто знает, может быть, пастушья свирель —
конец её сна.

Вот Россия раздвигает ноги циркулем тела прима-балерины

Вот Россия раздвигает ноги циркулем
прима-балерины,
расстёгивает пуговицу на солдатской шинели
неподалеку от железнодорожной станции
и разливается, как суп в алюминиевую миску,
в столовой,
где Раскольников спутал скорбный хлебушек
с утробой девушек.

Ночь, и в гостинице «Урал» на переезде в
Сибирь
я вешаю лицо своей любимой на портрет
Ленина на стене.

Её губы подкрашены помадой революции
и ездовой пёс прорезает в снегу её тела
тысячи километров санного пути,

отделяющих её

от той руки, что пишет эти строчки
чернилами водки.

Чтобы было что выпить в память о листе
бумаги, который завёл он себе
в четырнадцать лет, с именами девчонок,
начавших носить лифчик.

Я был единственным, кто знал об этом.

Теперь я единственный, кто может об этом
вспомнить.

Жасмин

Стихотворение на наждачной бумаге

Файруз протягивает губы к небу,
чтоб пролилось жасминовым дождём
на тех, кто встретились однажды,
не ведая, что влюблены.

Я слушаю её в «фиате» Мухаммада
в полдень улицы Ибн-Габироль.

Ливанская певица поёт в итальянской машине
арабского поэта из Бакья Аль-Гарбийя
на улице еврейского поэта, жившего в
Испании.

А жасмин?

Если падет он с небес конца света,

на минутку

зажжётся зелёный
на следующем перекрёстке.

Аги Мишоль

Стихотворение нецельному человеку

Ущербный как он есть, любимый и
прощённый, как он есть,
такой, как есть, сердитый и половинчатый,
голодный, жаждущий, недовольный,
кружащий
над пропастью,
стихотворение человеку, ускользнувшему
необласканным
из ночных сновидений в дневные,
протищающему горло, отхаркивающемуся,
нащупывающему ботинки,
какому есть, с урчащими кишками,
проталкивающими нечто, что уже скоро
испражнится, и размышляющему о любовном
голоде:
долог, долог голод любви,

многий кофий не сможет погасить его. Это
стихотворение
ослабевающему потоку его мыслей,
такому, какой есть, неопределенному,
недоуменному,
заострённому кверху, человеку, тоскующему
и чего-то ждущему,
стихотворение его некровоточащей ране,
клубню его молчаливой обиды, сигарете,
на которую он опирается сейчас,
пока усаживается за стол, как тот, кто
напоследок достиг хоть какой-то тишины.
Это стихотворение его чистым страницам,
поцелуй
его глазам, обретающим покой в пухе облаков

Я не смогу уточнить

Я не смогу уточнить, что скрывалось
в каждой слезе часа в три-четыре
утра, когда раздался свисток
из гнutoго носика чайника, а
может, из пасти шакала, когда у меня иссякли
все фильтры мировой скорби, но
если ангел осведомится, расскажу ему
о тех, у кого водрузили плахи на сердце и с

тех пор

они не перестают стирать всё, что написали,
хотя я и не смогу уточнить, кому смерть от
воды,
кому — от огня ², кому — от электричества,
возникающего между словами,
только поместить
пёрышко под ноздрю и проверить,
дышу ли я сейчас,
когда все рыхлые женщины переворачиваются
на другой бок.

Цапля

Проснулась я цаплей.
Не знала, ни кто я, ни что я
ем,
ни кого мне остерегаться, ни где
я живу.

Небо выглядит знакомым,
прыг-скок
и я там —

² Аллюзия на молитву Рош А-Шана.

Ури Цви Гринберг
(1896–1981)

НА КРАЮ НЕБЕС

В переводе с иврита Евгения Дубнова

1. Как Авраам и Сара

Как Авраам и Сара в Элоней-Мамре
Перед благой вестью,
И как Давид и Батшева в царском дворце
В нежности первой ночи,
Поднимаются мои святые замученные отец и

мать

Над морем на западе,
И на них — все лучистые короны Бога;
Под тяжестью своей красоты они

погружаются,

Не торопясь...

Над их головами могучее море течет,
Под ним — их глубокий дом...

У этого дома нет стен ни с одной стороны,
Вода в воде он построен.

Утопленники Израиля

Прибывают вплавь со всех концов моря

Со звездою во рту.
О чем они речь там ведут — стих не ведает
сей,
Это знают лишь те, кто в море...
Как лира, чья лучистая мелодия остановлена,
Так и я, их хороший сын,
На морском берегу возвышающийся вместе со
Временем.

И порой вечер входит в мое сердце вместе с
морем,
И я к морю иду —
Как будто я вызван на край небес для того,
чтоб узреть:
По обе стороны опускающегося солнечного
шара
Видны
Мой отец справа и моя мать слева,
А под ступнями их босых ног
Несет свои воды
Горящее море.

2. Мученики молчания

В лунные ночи моя святая замученная мать
говорит
Моему святому замученному отцу:

Когда родился сын у меня,
Луна оказалась в окне;
Тут же открыл он глаза и взглянул на нее, и с
тех пор
Это сиянье поет свои песни в крови у него,
По стихам его вольно гуляет луна с той
поры...

Много тоски беспокойной в отце моем было,
Но не стояла она, колесница блужданий, во
время томленья и жажды
У дома его.
Поэтому знал он молчанье и песню-напев —
Знал хасидский *нигун* —
И глазами любил крылья птиц.
«Хотят лететь — и летят себе — так».

Но мама моя — у нее
Томление страстное крепко привязано было
К колеснице той странствий:
Путем понимания сердца
Все ее существо умело ходить, ступая ногами
по морю,
Следуя следом луны на волнах
Ко мне, ее сыну в Сионе...
Но она не нашла меня — я не сидел
На морском берегу и не ждал ее.
И она возвратилась — по следу луны на

волнах,

Измощенная странствием, с головой в
лихорадке, пораженная морем.

И теперь моя мать — как отец — оба
мученики молчания.

На искрящихся волнах есть след от луны —

Да еще есть единственный сын

В целом мире,

Уцелевший на кровавом следу грозы.

Йован Зивляк
В переводах с сербского Лилии
Белинькой

Стояну Вуйичичу

это не город в котором ты будешь искать птиц
или собирать травы в конверты гербария
на лугу следить за кротом
смотреть как за берегом исчезают пряди
облаков. с севера приходит зима и порхают

стаи

воробьёв в воздухе подобно мёртвым
письменам

а дурашливая клио стоит в дверях музея и

улыбаясь

прислушивается к звону монет. с вышек
льётся вода
запах ромашки
розмарина. за окном некое лицо промелькнёт
как отблеск
кувшин который никто больше не клеит. о
уста что вы
замерли над книгами в которых бормотание
слепого
опустошённость что исчезаешь под руками
всё то что тебя бросало в сутолоку имён
пусть теперь с призраками запляшет на
шумной улице.

Дубровник

темно тёмное море. в глубинах
еще темнее. как раствор лакмуса
в лакмусе в чьих соединениях
трепещет ангел. с берега приносит
песок. издалека доносятся голоса. и всё
опускается на каменный мол
где в полёте кувыркаются ласточки. язык
которым
когда-то призывали и что строил
корабли сейчас летает подобно пуху

под стенами крепости. а множество прибывает
и прибывает и сама вода прогибается под
ступнями. рай босоногого детства потерян
былые идеалы увы не вернуть. но никто
не видит облако которое стремительно
опускается
чтобы стереть эти письма замыкая снова
уста тем что будут вскоре сумрачно
шелестеть
вблизи стен
слушая как в мелкой посуде
горит мясо.

Взлетает летучая мышь

кто поддерживает жизнь
комочек воздуха. дыхание
рождающее звуки. язык что ломается
на острых гранях. кто поддерживает
руку что исследует старинные
наречья и проносится сквозь разрушенные
члены заброшенных городов.
взлетает летучая мышь
отличное крылышко
холодное лицо.
жёсткая постель

светильник что горишь
кроме тебя ничто не существует.

Листва

кем может быть тот что слушает
арфу (скажем) цитру или губную гармошку
где-то на земле
где звук например
мир в себе и где со стрехи слышно
только ангела воробышка.

кем может быть тот кто листает письма
и прикасается к рельефному рисунку
воспламенённую душой
что сгибается подобно лозе.

оттиск стопы

куча земли что сложена рукою

разбросанная мелочь которую растерянность
бросает светиться

сквозь эпохи.

он вопрошает

листья что трепещут на оконном переплёте
хотят весёлым

дыханием измерить скорость света.

Ежегодный переводческий конкурс «Компас»

Русская поэзия по-английски 3

Премия «Компас» — 2013: Мария Сергеевна Петровых в английских переводах

Первая премия: Жозефина фон Цитцевитц
(Великобритания) «Молитва в лесу».

Вторая премия: Александра Берлина
(Германия) «Весна так чувственна. Прикосновение
ветра...».

Третья премия: Питер Орам
(Великобритания — Германия) «И вдруг возникает
какой-то напев...».

Почетный диплом: Нора Крук (Австралия)
«Назначь мне свиданье...».

Вручение премий и чтения состоялись 28
января 2014 года в Пушкинском Доме (Лондон).

Участие в вечере принимали Жозефина фон

Цитцевитц, Александра Берлина, Питер Орам, Дина Гусейнова, Анжела Ливингстон и Поэль Карп. Великий вечер Роберт Чандлер и Мария Карп.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ МАРИИ ПЕТРОВЫХ, ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ

Prayer in the Woods

Among the wonders
of the world is this:
leaves turning in the wind,
the woods that change
and never rest.
That is all fine, it's not forever.
The snow will fall, the snow brings rest.
And in an instant, sure as rain,
spring's turn is here.
We have it worse, but we keep silent.
Feel for us, woods!
Our youth is spring
but our old age
no multitude of winters.
After just one our space is void.
Air will close in wherever we
now stand and walk.
That is fine, too, if you are with us

and a sapling sinks its living roots
into our silence underground.
Have pity on us in return
for our lifelong loyalty
to branches, leaves and needles.
Bequeath to us your living breath,
a sapling growing ever more
tall, ramified and beautiful!

Translated by Josephine von Zitzewitz

Молитва в лесу

Средь многих земных чудес
Есть и такое —
Листья кружат на ветру,
Преображается лес,
Нет в нем покоя.
Это не страшно, это не навсегда,
Настанет покой снежный,
А там, глядишь, и весне подойдет череда
В срок неизбежный.
У нас похуже, но мы молчим.
Ты, лес, посочувствуй.
Весна — это юность,
а старость — не множество зим,

Минует одна, и место пусто.
Сомкнется воздух на месте том,
Где мы стоим, где мы идем.
Но и это не страшно, коль ты пособишь
И в нашу подземную тишь
Врастет деревцо корнями живыми.
Пожалей нас во имя
Пожизненной верности нашей
Ветвям, и листве, и хвое,
Оставь нам дыханье твое живое, —
Пусть растет деревцо
Все ветвистей, все краше!..

* * *

The spring, so sensuous. The wind's caresses
arouse the leafage, and it trembles, sinful.
Is all resistance vain? This very night...?
The tangy transpiration oozes out,
enveloping. A shudder passes softly
through maple branches, and through someone's
hair,
and someone's gaze.
All doomed. I, too, am doomed
to let my skin absorb the chilly star,
the sultry earthly sweat, the yellow sundown...
But now the hacksaw grinds against the iron,

and something sour has settled on the teeth.

Translated by Alexandra Berlina

* * *

Весна так чувственна. Прикосновенье ветра
Томит листву, и грешная дрожит.
Не выдержит? И этой самой ночью...
Пахучая испарина ползет
И обволакивает. Мягко
Кольшутся и ветви клена,
И чьи-то волосы, и чей-то взгляд.
Все — обреченное. И я обречена
Под кожу втягивать прохладную звезду,
И душный пот земли, и желтый мир заката...
Но по железу ерзнула пила,
И кислое осело на зубах.

* * *

...out of nowhere it comes, some melodious
thread,
and narcotic, relentless, it flies round your head
like a bumble bee's buzzing, obsessive, insane,

and you find yourself opening your notebook
again...

A wave of delight makes my spine ting-a-ling —
who could know that blank verse simply isn't my
thing?

Who *is* it that flung out this lifebelt to me?
And the rhymes pour in, suddenly, incessantly.

Such rhymes the great poet condemned — though
in vain —

as too stereotyped and too cold and too plain,
rhymes that we should avoid and think warily of
such as «never... forever» or «love» and
«above».

Yet profound are the reasons why certain words
rhyme —

in the same way some number-pairs magically
chime

and for these and all other such consonant
pairs

he was — thank God! — mistaken: the honour's
still theirs!

Translated by Peter Oram

* * *

И вдруг возникает какой-то напев,
Как шмель неотвязный гудит, ошалев,
Как хмель отлетает, нет сил разорвать,
И волей-неволей откроешь тетрадь.

От счастья внезапного похолодею.
Кто понял, что белым стихом не владею?
Кто бросил мне этот спасательный круг?
Откуда-то рифмы сбегаются вдруг.

Их зря обесславил писатель великий
За то, что бледны, холодны, однолики,
Напрасно охаял он «кровь и любовь»,
И «камень и пламень», и вечное «вновь».

Не эти ль созвучья исполнены смысла,
Как некие сакраментальные числа?
А сколько других, что поддержат их честь!
Он, к счастью, ошибся — созвучий не счесть.

* * *

Grant me a twentieth century meeting —
It's hard to breathe without your love.

Remember, turn back. Call me!
Grant me a meeting in that southern town
Where winds chased the hillocks
round and around,
While the sea played its colours
for us — above,
Where heart did not know
unrequited love.

Remember our first, our secret tryst:
We walked in the suburbs through rising mist
among tacky houses,
through narrow streets
Where people replied with an accent.
Those shabby surroundings... Remember? And

yet

glass

The tins on the scrap-heap and varied cracked
Had turned into diamonds
perhaps in their dreaming.
The path curled relentless above the abyss
Do you remember that sky-filled kiss?
And ever since — I forgot the date —
You've been my light and my air.
Let years whirl away
and revisit the past,
We'll meet at Granatny — our favorite alley.
Grant me a meeting on our earth,
Within the warmth of your secret heart.

Meeting again as we did before...
Seeing... still seeing,
Still hearing,
Still breathing...
Only I'm choking
on pain and air,
I am imploring — grant me a meeting!
Grant me a meeting but for a moment
Among the people in a packed square.
I cannot breathe... begging for rescue...
On my last day under dark skies
Grant me a meeting
with the blue eyes.

Translated by Nora Krouk

* * *

Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье
в том городе южном,

Где ветры гоняли
по взгорьям окружным,
Где море пленяло
волной семицветной,
Где сердце не знало
любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоем по окраинам,
Меж домиков тесных,
по улочкам узким,
Где нам отвечали с акцентом нерусским.
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным,
Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.
Тропинка все выше кружила над бездной...
Ты помнишь ли тот поцелуй
поднебесный?...
Числа я не знаю,
но с этого дня
Ты светом и воздухом стал для меня.
Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном...
Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоём потаенном сердечном тепле.
Друг другу навстречу
по-прежнему выйдем,

Пока еще слышим,
Пока еще видим,
Пока еще дышим,
И я сквозь рыдания
Тебя заклинаю:
назначь мне свиданье!
Назначь мне свиданье,
хотя б на мгновенье,
На площади людной,
под бурей осенней,
Мне трудно дышать, я молю о спасенье...
Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.

Премия «Компас» — 2014: Арсений Александрович Тарковский в английских переводах

Первая премия: Лоренс Богослав (США)
«В последний месяц осени, на склоне...».

Вторая премия: Нора Крук (Австралия)
«Ветер».

Третья премия: Игорь Мазин (США)
«Пускай меня простит Винсент Ван Гог...».

Почетный диплом: Евгений Серебряный
(США) «Поэт начала века»; Миша Семенов (США)

«Как сорок лет тому назад».

Вручение премий и презентация четвертого выпуска журнала Cardinal Points состоялись 17 января 2014 года в Доме Поэтов (Нью-Йорк).

Участие в вечере принимали Ларри Богослав, Игорь Мазин, Евгений Серебряный, Миша Семенов, Морис Эдвардс, Сибелан Форрестер, Полина Барскова, Бетси Хьюлик, Слава Полищук и Алла Стайнберг. Вели вечер Ирина Машинская, Александр Вейцман и Алекс Сигал.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО, ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ

* * *

In autumn's final weeks, on the decline
Of bitter life,
Filled to the brim with wistfulness, I walked
Into a leafless, nameless wood.
It was engulfed from edge to edge in milk —
White fog like frosted glass. Its hoary branches
Dripped tears distilled like those

That only trees weep on the eve
Of winter that drains everything of color.
And then a miracle occurred: at sunset
Out of a raincloud peeked a gleam of blue,
A ray of light broke through, as bright as June,
A weightless spear of birdsong cast
From future days back to my past.
And now the trees stood weeping on the eve
Of noble works and festive offerings
Of cheerful whirlwinds luffing in the azure;
And bluebirds started dancing in a ring
Like hands upon a keyboard, rising measures
From earth to the highest notes the air can sing.

Translated by Laurence Bogoslaw

* * *

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне

Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

The Wind

My soul was filled with sorrow in the night.
Yet I had loved the tattered wind-lashed darkness,
stars, glimmering in flight
above wet gardens
like sightless butterflies.
The Gipsy river, a woman
In her wrap, a shaky bridge,
shawl slipping over oily sluggish water,
these helpless hands as though before disaster.

It seemed she was alive.
Alive, as once, but moist and vowelled words

did not convey the meaning of desire
or happiness, or sorrow
and thought did not connect them any more
as is the habit there among the living.

Words burned like candles in the gusty wind
And sputtered out. As if her shoulders
Bore the grief of all. We moved, we walked
Abreast and yet her feet
Just skimmed this wormwood earth.
She didn't any more appear alive.

Once she had had a name.
September wind invades the wooden frame
now clanging locks in currents of chill air,
now flowing gentle fingers through my hair.

Translated by Nora Krouk

Ветер

Душа моя затосковала ночью.
А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,

Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.
И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных «Л» теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.
Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живую больше не казалась.
Когда-то имя было у нее.
Сентябрьский ветер и ко мне в жильё
Врывается — то лязгает замками,
То волосы мне трогает руками.

* * *

Forgive me, Vincent. In the very end
I could not offer you a helping hand.